



ЛИДИЯ ВАСИЛЬЧИКОВА

Исчезнувшая
Россия.
Воспоминания
княгини



БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва

УДК 94(470)“19/20”
ББК 63.3(2)524
В19

Васильчикова, Лидия Леонидовна.

В19 Исчезнувшая Россия : воспоминания княгини / Лидия Васильчикова. — Москва : Эксмо, 2026. — 528 с. — (1917. Разорванная нить. Личные истории конца старой России).

ISBN 978-5-04-243709-0

«Исчезнувшая Россия» — воспоминания княгини Лидии Васильчиковой о России, которую она знала с детства и которая исчезла у нее на глазах. Особенно тепло она пишет о дворянской усадебной жизни, о доме и семейных привычках, о природе и людях, среди которых выросла. В книге живо и красочно описана повседневная жизнь родового имения Лотарево. Тем горше звучит рассказ о его разгроме в 1917 году: с исчезновением усадьбы для автора рушится не просто родной дом, а целый уклад жизни. Через судьбу своей семьи Васильчикова рассказывает о крушении прежней России, и ее мемуары становятся прощанием с утраченным миром.

УДК 94(470)“19/20”
ББК 63.3(2)524

ISBN 978-5-04-243709-0

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая	7
Глава вторая	35
Глава третья.	49
Глава четвертая	71
Глава пятая	105
Глава шестая	127
Глава седьмая	143
Глава восьмая	163
Глава девятая	189
Глава десятая.	216
Глава одиннадцатая.	235
Глава двенадцатая	257
Глава тринадцатая.	287
Глава четырнадцатая.	306
Глава пятнадцатая	334
Глава шестнадцатая.	360
Глава семнадцатая.	385
Глава восемнадцатая.	410
Глава девятнадцатая	434
Глава двадцатая	467
Глава двадцать первая.	488
Глава двадцать вторая.	503

ГЛАВА 1

Трудно определить, в какой момент жизни у человека впервые замечаются проблески памяти. На основании собственного опыта мне кажется, что она проявляется еще в бессознательном возрасте. Мне еще не было года, когда я подверглась операции за ухом; она прошла бесследно, но внушила мне такой страх к белым одеждам, вероятно, напоминавшим мне белые фартуки хирургов, что я долго боялась моего отца, когда он носил белый китель.

Обрывки воспоминаний нашей жизни в Астрахани, где мой отец, князь Вяземский, был губернатором, живо встают перед глазами: дикий козел Джеран в нашем саду, кукольный дом, подаренный мне астраханскими дамами, верблюд и лошадь из соленого кристалла, привезенные моими старшими братьями с озера Баскунчак.

Я впоследствии сожалела, что мы уехали из Астрахани, когда мне было всего четыре года, так как я могла судить об интересной тамошней жизни лишь по рассказам старших. Кочевые племена киргизов и калмыков в степях у Каспийского моря, с их юртами и верблюдами, придают этой области восточный характер, тогда как громадные состояния рыбных промышленников превратили Астрахань в богатый и цивилизованный город. Моя мать рассказывала, что деньги на благотворительность лились рекой; на лотерее серебряных вещей запрещалось продавать в одни и те же руки больше чем определенное число билетов. Состояния наживались

и спускались с невероятной быстротой, так как нельзя предвидеть, в который именно рукав Волги рыба станет метать; расстановка сетей и снастей, сопряженная с весьма крупными расходами, происходила почти наугад; это своего рода рулетка, и три года неудачи могут разорить богатейшего промышленника. С другой стороны, человек, на которого неожиданно сваливалось громадное состояние, просто не знал, что со своими деньгами начинать, и швырял их направо и налево с удивительной щедростью.

Воспитательные дома, больницы и школы вырастали с непривычной для других городов быстротой.

Одновременно с должностью губернатора мой отец совмещал Наказное атаманство астраханских казаков и всегда носил их форму. Мой младший брат Владимир родился в Астрахани, и когда ему было лет пять, то старшим братьям удалось его убедить, что при рождении он был занесен в списки Астраханского войска и что теперь он должен быть по крайней мере есаулом. Он пришел в восторг от такого известия, и побежал к моему отцу за разъяснениями своего чина и сопряженных с ним обязанностей, и горько заплакал, узнав, что над ним сыграли шутку.

Со времени нашего отъезда из Астрахани мне кажется, что я помню все. Наша детская жизнь протекала равномерно, меняя лишь свои рамки соответственно времени года: лето в Лотареве, с короткими наездами к бабушке Левашовой в Осиновую Рощу на границе Финляндии, осень в Гаспри в Крыму, зима в Петербурге. Лотарево, наше тамбовское имение, было настолько центром нашей жизни и наших интересов, что мне трудно в моих воспоминаниях о нем придерживаться хронологического порядка. В моем представлении оно всегда было и всегда останется идеальным имением, от которого в настоящее время не осталось ни следа. Дом, прежде полный оживления и такой интенсивной жизни, разгромлен, все постройки громадной усадьбы уничтожены,

чудный парк вырублен, породистый скот, которым мы так гордились, — разогнан, некоторые наши знаменитые лошади изувечены. Одним словом, полное, бессмысленное, дикое разрушение! Оно и не удивительно, раз большая часть России разграблена, и все же я должна напрячь воображение, чтобы представить себе эту картину безнадежного уныния и опустошения и мертвую, зловещую тишину в тех местах, где прежде жизнь была ключом.

Лотарево лежало между Волгой и Доном, в земледельческой полосе юго-восточной России. В местности, где однообразный ландшафт полей тянется на бесконечном протяжении, оно представлялось раем. У моего отца была мания посадок. Он не только удвоил площадь нашего старинного парка, но насадил много перелесков в степи. Каждая дорога на нашей земле обращена была в аллею, и пять рядов деревьев окаймляли каждое поле, образуя заслоны против метелей, обеспечивая равномерное распределение снега на поля и служа отличным укрытием для дичи. Я еще буду иметь случай говорить о том, как мой отец старался привить это уважение к деревьям крестьянам и как тщетны оказались эти попытки.

В Лотарево мороз и снег длились с октября по конец марта. Часто зимой мы охотились в двадцать градусов, но было так солнечно и безветренно, что холод не чувствовался. Летом, напротив, неделями было тридцать пять в тени, и виноград созревал снаружи. Благоденствие населения зависело исключительно от урожая, и засухи иногда становились настоящим бедствием. Таким был голодный 1891 год, повлекший за собой в 1892 году холеру. Немедленно была организована помощь населению. Ввиду того, что Лотарево лежало в центре пораженной полосы, мои родители были очень заняты; мы же, дети, со всем педагогическим персоналом были отправлены в Осиновую Рощу, имение моей бабушки Левашовой на границе Финляндии.

Между тем помощь лилась со всех сторон; даже я получила 100 рублей от незнакомой английской девочки на покупку

коровы для голодающей крестьянской семьи нашей округи. Она писала, что слышала обо мне от Mr. Frances, пастора Петербургской нонконформистской церкви, описавшего меня как «английскую маленькую русскую девочку». Я очень гордилась тем, что, как взрослая, принимала участие в помощи голодающим, и ответила, что хотя я знаю Mr. Frances, но не встречалась с ним с прошлой зимы, и я теперь больше не маленькая, так как отпраздновала свое пятилетнее рождение. Когда мне минет двенадцать лет, как ей самой, то я, разумеется, буду и плавать и ездить верхом, а пока я езжу на осле (но, решив, что это звучит чересчур скромно по сравнению со всеми видами спорта, в которых она, судя по ее письму, блистала, поспешила прибавить: «И иногда правлю парой, когда сижу на козлах!»).

М. Frances приезжал в Лотарево в связи с помощью голодающим и бывал у моих родителей в городе. Он однажды меня попросил рассказать ему какую-нибудь притчу. Я попросила его выбрать; он назвал «Притчу о добром самарянине». Нимало не смущаясь, я принялась рассказывать, как мне впоследствии говорили, преуморительно передразнивая надменную манеру, с которой священник и левит прошли мимо раненого самарянина. Но М. Frances был не из тех, кто смеется рассказу из Священного Писания, даже в забавной передаче шестилетнего ребенка. Напротив, он остался очень доволен, и с этого момента прозвал меня «маленьким добрым самарянином», и подарил мне гравюру, изображающую эту притчу, которую я вместе с другими воспоминаниями моего детства оставила в России. Говоря о рассказах из Священного Писания, я должна упомянуть о «Jeer of Day», книжке, которую я в раннем детстве знала почти наизусть. Когда двадцать лет спустя я ее просматривала для своих детей, она меня горько разочаровала. Каждая глава начиналась и заканчивалась прописной моралью. Или мое поколение на этом не останавливалось и сосредоточивало свое внимание на более интересных местах, или наша Miss

Annie мудро пропускала эти наставления, но я сохранила в памяти лишь описание сенсационных происшествий: казнь, насылаемая на египтян страшным стариком Моисеем, бешеная скачка фараона за евреями. (Все мои симпатии были на стороне египтян, и я искренно радовалась тому, что он не поторопился и не нагнал их до Черного моря.) Колесница пророка Илии казалась удобным экипажем, а серые лошади великолепны. Очень было соблазнительно по его примеру прокатиться на небо, конечно с тем, чтобы, рассмотрев все хорошенько, снова вернуться на землю. Одну картинку мой младший брат и я особенно любили. Куча детей не старше нас надсмехалась над пророком Елисеем. Несмотря на видимое добродушие, старик был лукав, и минуто спустя большущие серые медведи вышли из пещеры и разорвали этих детей. Кости их были живописно раскиданы на первом плане картинки, и так все было хорошо описано, что можно было себе представить хруст костей. (Что наличие медведей в пустыне неправдоподобно, было выше моего шестилетнего разума.) К своему стыду должна сознаться, что мои знания Ветхого Завета сводятся к этой книжке, и, учитывая, как давно тому назад я ее держала в руках и как хорошо ее помню, надо полагать, что она была прекрасно написана.

Столпом, вокруг которого вращался наш детский мир, была наша старая nurse (няня) Баба, прожившая в левашовской семье с самого детства моей матери.

Она была когда-то замужем за итальянцем и звалась m-me Казо. Мой отец шутил, что она представляла, в более крупном и красивом масштабе, репродукцию королевы Виктории. Высокая и величественная, в черном кружевном чепце, со множеством медальонов и колец, это был тип викторианской эры, который теперь уже не встретишь. У моих детей были отличные английские nurses, но в смысле преданности своим питомцам и понимания их характеров я никого

не могу сравнить с нашей старой Баба. Она принадлежала к старой школе и мерила температуру ванны локтем, но была так умна и терпелива, что задолго до того, как с моей глухонемой от рождения тетей стал заниматься специалист профессор, она ее выучила говорить. Она к нам была исключительно добра, умело и терпеливо ходила за нами во время всех наших болезней (мы даже любили болеть, до того нам бывало весело), но, кроме нас, детей, все ее в доме побаивались, начиная с ее племянницы, которую она выписала себе в подмогу, когда мои старшие братья были выделены в особую пару. Последняя тоже стала членом нашей семьи и жила с моей матерью до самого беженства в 1919 году. Miss Annie Cale, правда, приехала в Россию двадцатилетней девушкой, но это единственная англичанка, которую мне пришлось в своей жизни встретить, говорившая по-русски без малейшего иностранного акцента. В лингвистическом отношении она представляла прямой контраст своей тетке, прожившей больше тридцати лет в России и коверкавшей все русские слова на английский лад.

Личность Баба была так ярка, что она ухитрилась перенести атмосферу английских детских на нашу русскую родину.

Может быть, некоторые мои привычки и вкусы и остались английскими, и этим объясняется, что я в течение всей жизни сходилась с англичанами и чувствовала себя в Англии как дома. Сходство в установленных привычках и правилах было достижением нашей старой Баба. Это странное явление, ведь жизнь в Англии и России совершенно между собой не схожи! К тому же мои братья и я ходили в русскую гимназию, у нас были воспитатели других национальностей, редкие родители так вникали в жизнь детей, как наши, и, несмотря на все эти обстоятельства, отпечаток Баба остался навсегда. Когда у Государя родилась старшая дочь, Ольга, тетка моей матери, обергофмейстерина кн. Мария Михайловна Голицына, знавшая Баба больше тридцати лет,

просила ее заведовать маленькой великой княжной, но она уже чувствовала себя слишком старой и через несколько лет скончалась, оплакиваемая всеми, кто ее знал.

Из Астрахани мой отец был назначен начальником Главного управления уделов, и мы жили в Удельном доме на Литейном. На одном конце нашей огромной игровой, служившей прежде бальной залой, стояла деревянная гора, с которой мы скатывались в компании ручного медвежонка. Прежде чем спускаться, он преуморительно подстилал под себя коврик и вообще был очень мил и грациозен, взбираясь на высокий стул моего младшего брата, а иногда карабкаясь под обеденным столом по ногам испуганного гостя. Однако вскоре его зубы и когти перестали быть безобидными, и его пришлось отдать в зоологический сад, где он долго здравствовал под названием Мишки Вяземского. Упомянутая гора, аквариум, птичий садок и столярные станки моих старших братьев и игрушки нас, младших, стояли вдоль стен. Пользуясь свободным пространством игровой и соседней бильярдной, мой младший брат, страстный любитель лошадей, устраивал бега на велосипеде, и ввиду того, что он был единственным участником, то он носился как сумасшедший в цветах присутствующих гостей. Однажды, для большего реализма, он прикрепил веревку одним концом к столу с призами, за которым сидел стартер, другим аквариуму. Эту веревку он собирался прорвать грудью, как лошадь на бегах прорывает нитку, и разумеется, велосипед с братом, стартер и стол с призами сокрушились у подножия аквариума. Большие комнаты, многочисленные лестницы и коридоры в Удельном доме, а весной и сад, предоставляли простор для шумных игр. По воскресеньям у нас собирались наши сверстники, и дом гудел. Нас было четверо: двое братьев старше меня и один моложе; у меня не было сестер, и я не помню, чтобы я когда-нибудь об этом пожалела, зато часто сокрушалась о том, что не родилась мальчиком.

После переезда в Петербург к старшим братьям поступил воспитатель, и выходы с Баба и Miss Annie ограничивались младшей парой. В гигиенических видах мы должны были шагать по солнечной стороне улицы и этого терпеть не могли, предпочитая отправляться за покупками Баба в английский магазин на Полицейском мосту. Даже для производства ниток и пуговиц Баба признавала одну Англию, «страну, откуда происходят все хорошие вещи» (the country where all good things come from). Персонал этого магазина был, по-видимому, бессмертным, потому что тот же m. Woodfiffe, главный наш приятель, даривший записные книжки, бутылочки духов и мне и моему брату, преподносил их впоследствии и моим детям. Другим излюбленным нашим магазином была английская библиотека на Большой Морской. Заведующий, m. Latimore, был таким старым нашим другом, что считал себя ответственным за наши литературные вкусы. Уже взрослым мой брат Дмитрий перевел афоризмы Оскара Уайльда, для чего ему понадобилось полное собрание его сочинений. Latimore, укоризненно покачав головой, ответил брату: «Таких книг в магазине я не держу и для вас выписывать не согласен!»

С наступлением весны ненавистные прогулки на солнце становились разнообразнее. На островах недалеко от Стрелки была возможность переправиться на гнилом пароме через озеро на заросший островок. Этот паром представлял для нас непонятную приманку. Если бы остров заключал в себе замок Черномора, мы бы не сильнее на него стремились, но попасть на него было запрещенным удовольствием, и, как таковое, неудержимо нас влекло. Прародительница Ева со своим пресловутым яблоком в руке была, вероятно, менее счастлива, чем мы, когда, улучив минуту, мы понеслись на паром... и переправились. Другая амбиция, более прозаичная, так и осталась несбыточной мечтой, это было попробовать ярко-желтый и ярко-розовый напиток из стеклянных кувшинов, гарцевавших на плече у разносчиков и, как не без основания полагали наши nurses, пополнявшихся из Большой и Малой Невки.

В Петербурге существовали два уличных зрелища, о которых, к сожалению, наши дети могут судить лишь понаслышке. Это Вербный базар вдоль Гостиного двора, называвшийся попросту «На вербах», и масляничное гулянье на Царицыном лугу. Ничем особенным, таким, чего в других петербургских лавках не продавалось, Вербный базар похвастаться не мог, если не считать самих верб, покупавшихся пучками и скрепленных восковым херувимом с румяным глуповатым лицом, да еще специфическими игрушками на лотках разносчиков: фигурки, пищавшие в стеклянных бутылочках с яркой цветной жидкостью, почему-то называвшиеся «американскими жителями».

Те же пряники, та же халва, те же жаворонки из теста, не говоря уже о несъедобном товаре, но оттого, что на дворе стояла весна, таял снег, светило солнце и приближалась веселая Пасха, все это зрелище носило особый «гуляльный» отпечаток и для нас, детей, казалось верхом привлекательности.

По каким-то соображениям городского порядка масляничное гулянье с Царицына луга впоследствии было перенесено на окраину города, и я его помню так смутно, что собственные воспоминания у меня сливаются с картинами Кустодиева. В «балаганах» (театрах) с крылечком, на котором стоял старик, зазывавший своими прибаутками публику (наподобие современного «conférencier»), давались пьесы с самыми неожиданными названиями, как, например, «Ермак Тимофеевич, или Сапоги всмятку». Какая была связь между сапогами всмятку и завоевателем Сибири, сказать не берусь, потому что по молодости лет меня в балаганы не пускали и я лишь с вожделием ими любовалась снаружи, но один из моих братьев или неразлучных с ними мальчиков Оболенских ухитрились в них потеряться. Тут были и цирк, и карусели, и под навесами исполинские самовары с подобающим угощением, и ледяной дом, и все это занимало всю площадь

Царицына луга и окаймлялось рядами финских саней, разукрашенных бубенцами и лентами, появлявшимися в Петербурге только в течение Масленицы и потом исчезающими как в преисподнюю до следующего года.

Нам в детстве очень много читали, и так как, по мнению Баба, праздность была матерью пороков, то, слушая чтение, мы не смели сидеть сложа руки и либо шили для бедных, либо клеили картинки в тетради, посылавшиеся в детскую больницу д-ра Раухфуса, знаменитого детского врача и ученого.

Наряду с книгами, которыми, в свою очередь, увлекались и мои дети, существовала литература, совершенно исчезнувшая с горизонта современных детей и присущая, по-моему, одной викторианской эре последнего периода.

Это были жизнеописания детей, больных или калек, с особенно возвышенными чувствами, непонятными их прозаическому окружению; они в течение рассказа блекли и умирали, изрекая при этом такие грустные слова, что мы, слушатели, ревели в три ручья, и при этом книга нам нравилась. Для меня до сего дня остается загадкой, как дети такого веселого нрава, каким отличались мы, могли наслаждаться такими произведениями наряду с увлекательными приключениями Фенимора Купера и уморительными рассказами Джерома. В русской литературе также существовали книги исключительно грустные, как «Мальчик у Христа на елке», написанные для детей. Очевидно, мода в этом отношении распространялась на всю Европу.

Мне было не больше семи лет, когда Элеонора Дузе приезжала на гастроли в Петербург. В 90-х годах она была в зените своей славы, но понятие о том, что такое знаменитая актриса, самая знаменитая актриса своего времени, для семилетнего ребенка, как я, было пустым звуком. В моих глазах она была красивой итальянкой, другом моей бабушки,

которую я часто видела в левашовском доме, которая всегда схватывала меня в свои объятия, и при этом иногда плакала, и, когда она бывала у нас, участвовавшая в наших играх. Она однажды принесла мне обезьянку и сказала, что подарит ее мне, если я ее поцелую. Когда она ушла, я спросила мою мать, почему эта итальянка часто выглядит такой грустной; мне объяснили, что она оставила свою собственную дочь в Италии и что скучает по ней; что она — знаменитая актриса, чей подарок я должна всегда хранить на память о ней. «Что такое актриса? — спросила я. — Неужели она прыгает через обручи на спине у лошади?» Эта худая темная дама в черном платье и меховой шапочке ведь совсем не похожа на тех нарядных наездниц в розовых и голубых, усыпанных блестками пышных юбках, которыми я так любовалась в цирке. Следующая и очень дружеская моя встреча с Дузе произошла в ее приезд в Петербург в 1908 году. К тому времени у меня укоренилась страсть к театру, и я была рада случаю видеть ее вне сцены. Я нашла ее чрезвычайно обаятельной женщиной. Она была уже немолода, но ее улыбка была очаровательна, а глаза замечательны. Их обычное выражение было грустное, даже трагическое, но, когда она улыбалась, все лицо освещалось. Голос у Дузе, хотя мягкий и низко поставленный, был с перебоем (я не смею назвать его хриплым). Мои родители и особенно бабушка, знавшие ее хорошо, находили, что она так же интересна в разговоре, как и привлекательна внешностью. Моя мать спросила, которая из пьес, играемых в этот ее приезд, была лучшей. «Для нее? — спросила Дузе, указывая на меня. — Разумеется, ни одна! Подождите, пока вы не вырастаете!» Тем не менее я ее видела во всех ее ролях. Тем, кто интересуется сценой, может быть, интересно услышать мнение Дузе об игре вообще. Мой отец обсуждал с ней одну из ее ролей, казавшуюся публике особенно трогательной, и заметил, как такие роли должны быть утомительны. «Почему вам кажется, что эта роль более утомительна, чем другая? — ответила Дузе. — Актриса, которая на минуту забудется и, как вы называете,

войдет в роль, никуда не годится». Все присутствующие стали ей возражать, но она утверждала, что то, что публика называет чувством и естественностью, должно быть изучено актером вдоль и поперек. Личный талант актера только придает блеск изученной роли. Я привожу этот разговор, потому что вполне разделяю мнение Дузе, которое, исходя из такого авторитетного источника, становится веским.

В моих детских воспоминаниях образ Дузе стоит рядом с акварелистом Волковым-Русовым. Их дворцы в Венеции были смежны, и Волков писал прекрасные портреты Дузе, в совершенстве передавая выражение ее глаз. Он был старым другом моих дедушки и бабушки Левашовых, и я его знала с тех пор, как себя помню. Левашовы с ним познакомились в Одессе, где он читал лекции по физиологии растений. Из тех, кто любовались его картинами и портретами, кто знали его как прекрасного музыканта, автора философских сочинений и самого блестящего и разностороннего собеседника, не многие знали, что Волков к тому же и физиолог, но в нем соединялись все таланты, и в этом отношении он был типично русским, хотя ни во вкусах, ни в привычках, ни во внешних приемах ничего русского он в себе не имел и так много жил за границей, что говорил на родном языке с акцентом.

Мой дед, гр. Владимир Васильевич Левашов, был очень симпатичным и достойным человеком и, как его лестно характеризовали иностранцы, «*le type d'un grand seigneur russe*», но я была совсем маленькой девочкой, когда он скончался, и потому все мои воспоминания сосредоточены на бабушке. Гр. Ольга Викторовна Левашова, рожд. гр. Панина, Гага, как мы ее называли, сокращая английское *grandmamma*, представляла собой оригинальный тип. Бабушка часто повторяла, как она рада тому, что в ее жилах течет немецкая кровь. Это замечание казалось тем более смешным, что исходило от человека, ничего немецкого в своем характере не имевшего. Моя бабушка обладала в высшей степени теми свойствами приспособляться к окружающей среде, которые

наблюдательные иностранцы считают отличительной чертой русского характера, особенно присущей русским женщинам. Мой дед Левашов много лет прослужил на Кавказе, сначала адъютантом Наместника, великого князя Михаила Николаевича, а позднее кутаисским губернатором; отсюда он был переведен в Одессу. Где бы они ни жили, Левашовы были очень любимы. Бабушка, светская женщина с высокими умственными интересами, имела в себе столько содержания и личность ее была так ярка, что она не только не скучала в той среде, куда ее случайно бросала судьба, но создавала вокруг себя собственную атмосферу. Я еще не встречала в жизни человека, у которого было бы столько друзей, сколько у нее, как на родине, так и за границей. Все лица, как в калейдоскопе прошедшие через ее жизнь, не потеряли с ней связи и нет-нет да и появлялись на ее горизонте.

Левашово, ее прелестное имение под Петербургом было местом сборищ дипломатов. Это не всегда были послы, но иногда и молодежь.

Моя бабушка была такой интересной собеседницей, что эти молодые люди предпочитали ее компанию своим сверстникам. Впоследствии, живя беженкой за границей, я много раз встречала людей, которые, узнав, что я внучка моей бабушки, забрасывали меня уверениями в своей преданности ее памяти и с благодарностью вспоминали ее гостеприимство. Это меня не удивило. Бабушка в свои привязанности и дружбы вкладывала всю душу. Ее щедрости не было границ, и, в частности, мы, ее внуки, заваливались подарками, которые приурочивались к каждому подходящему случаю, празднику, заболеванию, выздоровлению. Энергии она была необычайной, можно сказать, что она излучала энергию и не могла допустить отсутствия этого свойства в других. Было очень забавно наблюдать, как апатичные люди попадали в круг ее кипучей деятельности и невольно вовлекались в водоворот. Ни на одну минуту моя бабушка не оставалась праздною, и праздность в других ее бесконечно раздражала.

Если она не работала в саду, сажая и подстригая деревья, и не обходила подведомственных ей учреждений, то она составляла каталог своей библиотеки, или переплетала книги, или же выжигала по дереву. В этом она достигла большого художественного совершенства, и двери и панели ее дома на Фонтанке были ее работы. Не понимаю, когда она все это успевала делать наряду с ее обширной перепиской и с неимоверным числом книг и статей, которые она поглощала. Бабушка страстно интересовалась политикой и задолго до моего рождения, во время диктатуры Лорис-Меликова, который был другом Левашовых, у нее был политический салон. В последние годы своей жизни в Париже бабушка мне присылала коллекции политических карикатур; теперь они имели бы историческую ценность, но я их, разумеется, оставила в России. Такими же политическими карикатурами были оклеены ширмы комнаты для приезжих в Осиновой Роще, и гости всегда шутили, что они были до того заняты, что в Осиновой Роще поневоле опаздываешь к обеду. Если я кого-нибудь в жизни побаивалась, так это бабушки Левашовой, хотя она была неизменно добра и внимательна. Энергии у меня было достаточно, и в вину она мне ставила другое — мальчишеские ухватки; пугало ее и мое страстное желание стать профессиональной актрисой. Я возражала, что ее друг, Дузе, тоже актриса, что не мешает ей быть культурной и милой женщиной. Бабушка меня уверяла, что Дузе — исключение и что большинство актеров представляют собой для такой молодой девочки, как я, неподходящую компанию.

Бабушка и моя мать были очень дружны, хотя характерами они были настолько несхожи, что трудно было себе представить, что они были мать и дочь. Светскость нашей Гага и потребность быть постоянно на людях была моей матери совершенно несвойственна, и невозмутимое ее спокойствие представляло резкий контраст подвижности моей бабушки. Вероятно, это свойство и импонировало последней, почему она так считалась с мнением моей матери. Единственной